



УДК 101.8

**В. И. Повилайтис**

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

*Рассматриваются подходы к исследованию философии истории в русском зарубежье. Определяется специфика объекта исследования, предлагаются принципы организации эмпирического материала, дается его общая характеристика.*

*This article examines the approaches to the study of Russian philosophy of history abroad. The author focuses on the specific features of the object of research, outlines the principles of empirical material organisation, and gives its general characteristics.*

**Ключевые слова:** история, философия истории, методология, познание, философия русского зарубежья.

**Key words:** history, philosophy, history, methodology, cognition, Russian philosophy abroad.

Изучение философии истории русского зарубежья, возможно, больше, чем какая либо другая тема, нуждается в достижении максимальной фактической полноты выстраиваемой картины. Дело в том, что сами по себе довольно редкие и ветхие, ранние эмигрантские издания почти нигде ни в России, ни за рубежом системно не хранятся и не переиздаются. Именно поэтому требуется собрать довольно обширный корпус источников (*книги, статьи, рецензии, письма*), часть которых широкой публике до сих пор неизвестна. Следует работать со всеми источниками, которые соответствуют предварительно определенным условиям. Что это за условия?

При отборе текстов требуется: *во-первых*, исключить тех авторов, кто остался в России, хотя и оказывал влияние на эмиграцию; *во-вторых*, исключить тех эмигрантов, чьи работы по данной проблематике были изданы еще в России (такие работы принимаются в оборот, если только при переиздании в зарубежье они значительно дополнялись или перерабатывались); *в-третьих*, исключить тех философов, кто не касался вопроса об основаниях исторического бытия, сосредоточившись на осмыслении русской и всемирной истории или других вопросах; *в-четвертых*, исключить тех, кто выпал из русского контекста и «переродился» в новом языке и новой культуре.

Однако следует учитывать, что даже при самой кропотливой исследовательской работе картина будет неполна. И причины этого кроются не только в возможных промахах, допущенных при библиографическом поиске: есть некоторая фундаментальная неполнота, обусловленная спецификой историко-философского изыскания. Восстанавливая прошлое, мы должны учитывать существование особой зоны непостижимого, включающей в себя то, что при всем желании не может быть реконструировано из-за недостатка адекватных свидетельств (текстов) – либо потому, что тексты не сохранились, либо потому, что никогда и не существовали (то, что осталось незафиксированным ни в печати, ни в частных документах, ни в свидетельствах третьих лиц).

Конечно, исследование по истории философии предполагает реконструкции и истолкования, однако и их возможности не безграничны. Дело в том, что доступные источники (даже если предположить, что они адекватно представляют весь массив источников) создавались в определенных культурно-исторических условиях (контекст), восстановление которых в полном объеме затруднительно. А это значит, что и восстановление исходного значения данных текстов в полном объеме невозможно.

Игнорировать значение контекста, объявлять его вторичным, незначительным – это попытка абсолютизировать собственную субъективность. Следует понимать и то, что вера в возможность тотальной реконструкции любых философских представлений подразумевает априорное убеждение в их внутренней согласованности и непротиворечивости. Однако подобной внутренней стройности в мировоззрении философов-эмигрантов почти никогда не было. Вспомним, что из сходных философских установок эмигранты делали диаметрально противоположные политические, исторические, культурные выводы. И напротив: люди разных философских убеждений разделяли общие социально-политические доктрины (схема *позитивист – значит либерал, православный – значит монархист* не работает).



Более того, уверенность в том, что прошлое может быть зафиксировано единственно правильным способом, по-существу, является механизмом, при помощи которого исследователь не столько постигает истину, сколько защищает свои философские, культурные или религиозные «императивы». То есть надо разделить занятие историей философии и рецепции историко-философских идей в собственном творчестве.

Есть и чисто практическое сомнение в возможности обнаружения тенденций и течений на таком малом промежутке времени, в такой предельно враждебной и разреженной культурной атмосфере, когда коммуникации были предельно затруднены (границы, войны, бедность академической жизни, просто бедность). Чтобы тенденция существовала, нужен механизм ее поддержки и воспроизводства — научая среда, научные школы, учителя и ученики. Их нет. Возникшая случайно, внутренне противоречивая и неустроенная эмиграция в то время еще не стала полноценным организмом (вспомним, что провалом закончились все попытки даже не сформулировать единую позицию, а просто провести общий съезд). Возможно, конечно, включить философию русского зарубежья в более широкий хронологический философский контекст, привлекая предшествующие этапы развития русской философии как основу для реконструкции — но это значит, что в подобном имманентизме мы совершенно игнорируем такие мощные внешние травмирующие факторы, как революция, опыт эмиграции и Первая мировая война. Философ у нас, словно сомнамбула, движется вперед, поработанный логикой развития собственной идеи. А ведь названные факторы в действительности есть *родовые травмы* философии русского зарубежья, которые изменили не только декорации, но во многом и саму манеру мыслить.

Представляя собой сюжетно и тематически организованное *единство*, философия в то же время неразрывно связана с *эпохой* — *местом и временем*, способом отбора и классификации данных, расстановкой акцентов и стилем мышления. Можно сказать, что у русского зарубежья в философской номенклатуре были любимые темы, но были и вопросы, которые остались почти незамеченными. Основания этого — и в состоянии науки, и в особенностях культуры.

**Состояние науки.** Конечно, история XX в. породила ряд феноменов, которые позволяют нам утверждать, что в рамках единого исторического процесса это время составляет самостоятельную и, возможно, самую катастрофическую эпоху. Но дело здесь не ограничилось изменением объекта исследования. Столкнувшись с реальностью нового типа, историческая наука была вынуждена искать новые подходы и приемы для ее описания. Новая эпоха сформировала и новый тип исторического сознания, в рамках которого происходит трансформация устоявшихся форм научной и философской рефлексии. Иначе говоря, в первой половине XX в. происходила фундаментальная перестройка и общества, и наших представлений о наиболее полных и адекватных способах его описания.

Основными философскими ориентирами российской исторической науки стали дополнявшие друг друга модели западных и русских мыслителей. В разной степени влияние на российских историков оказали философия истории Гегеля, позитивизм, концепция Маркса, неокантианство, психоанализ. Общеввропейский философский фон дополнялся историософскими построениями русских мыслителей, в которых мы видим одновременно и своеобразное выражение национального духа, и построения, откликающиеся на самые оригинальные ходы европейской мысли: таковы концепции Чаадаева, Хомякова, Герцена, Данилевского, Леонтьева.

Но интерес философов к постижению исторического бытия не был исключительным — параллельно с этим шла разработка вопросов теории и практики исторического познания в рамках самой исторической науки. Здесь мы также имеем дело с двуединым процессом — освоением лучших проявлений западной историографии и развитием оригинальных идей методологического характера в отечественной исторической науке.

**Особенности культуры.** Катастрофизм, характерный для первых десятилетий XX в., был не просто одним из факторов, действующих *извне*, — для русской эмиграции это глубоко личное отношение к миру, форма восприятия, диктующая трагическое видение истории. Мировая война и революция изменили сознание человека, значительно обновили состав и структуру философского *словаря* эпохи, устоявшиеся философские категории приобрели новые смысловые оттенки.

Однако культура, порожденная этими катастрофическими изменениями, оставалась для русского зарубежья *содержательно и стилистически чужой* — достаточно просмотреть статьи советских марксистов, чтобы осознать ту пропасть, которая отделяет их от философской традиции *Серебряного века*.

Следует учесть и вполне земные обстоятельства: работа преподавателя, система получения ученых степеней всегда (и до революции в том числе) были связаны с выполнением определенных



формальных требований (по содержанию и структуре читаемых курсов, по критериям академичности, предъявляемым к публикациям, и т. п.). Это подразумевало отношения не только с научным сообществом, но и финансирующим его деятельность государством. Именно эти отношения в условиях эмиграции были разрушены: отсутствие денег, недостаток студентов сделали затруднительным существование *прежних* научных школ и препятствовали появлению *новых*.

Кроме того, следует учитывать, что эмиграция не только оказалась раздроблена идеологически (за границей были представлены все — от монархистов до социалистов), было расколото и православное сообщество: конфликт с возглавляемой патриархом Тихоном Русской православной церковью, разлад внутри самой зарубежной церкви (противостояние *карловчан* и *евлогианцев*), активизация протестантски окрашенного экуменического движения и традиционный прозелитизм католической церкви предельно политизировали религиозную сферу.

**О дескриптивности.** Дескриптивность в историко-философских исследованиях часто противопоставляется объяснению как нечто неполноценное. Всегда ли это утверждение верно? В подобных претензиях чувствуется ностальгия по тому, что постмодернисты называли большим нарративом или метарассказом [3]. Убеждение в том, что дескрипция является неполноценной с познавательной точки зрения, было довольно удачно подвергнуто критике в современной философии истории (укажем на современные работы, в которых показано, как функционируют объяснительные механизмы дескрипции [2]), поэтому элементы неизбежной дескрипции не лишают работу познавательной ценности.

Отказываясь от сакрализации теоретических конструкций в процедуре исследования, в любом случае надо попытаться осознать причины этого явления. Нужно доказать, что при исследовании данной конкретной темы излишняя концептуализированность не даст ни нового верифицируемого знания, ни некоей неожиданной прогностической перспективы — скорее послужит снятию когнитивного диссонанса у исследователя (об этом подробнее см. в работах Хайдена Уайта и посвященной ему отечественной исследовательской литературе [1]).

В современной науке причинами подобного перекоса объявляются два предубеждения: первый — *предубеждение универсальности*, мысль о том, что только знание общего и всеобщего (в отличие от единичного и отдельного) действительно научно. Есть версия, что убеждение это порождается консервацией в философии исторической специфики древнегреческого мышления (Платон, Аристотель), то есть носит исторический характер; предубеждение второй — *герменевтическая наивность*, или вера в возможность безупречного восприятия — потеря точки обзора, взгляд исследователя как взгляд ниоткуда [2, с. 212]. Это, в свою очередь, приводит к наивной уверенности, что возможна ценностно-нейтральная процедура описания в философском (шире — гуманитарном) знании.

Поэтому рискнем предположить, что дескрипция и объяснение дают исследователю довольно много свободы (возможностей для интерпретации при ответе на вопрос «что произошло?» не меньше, чем в вопросе «почему все случилось именно так?»). И детальная *дескрипция*, и фундированное *объяснение* должны быть использованы в любом историко-философском исследовании. Да и как можно избежать дескрипции при исследовании текстов, современному читателю почти неизвестных? Ведь не следует забывать, что исследователь должен еще *аргументировать* и *интерпретировать*. Именно необходимость аргументации предполагает дескрипцию и сковывает фантазию исследователя, не позволяя ему улететь в заоблачные дали. И является ли отказом от интерпретации требование аргументировать предлагаемые варианты объяснения? Нет. Значит ли, что интерпретация — это неаргументированное объяснение? Нет. Следует делать только те обобщения, что не противоречат имеющимся источникам.

Центральное из них — утверждение *мозаичности объекта исследования*. Это принципиальное утверждение. Мозаичность нельзя просто игнорировать — с ней надо работать. Но как?

Начнем по порядку. На каком основании утверждается, что объект мозаичен? Анализ источников по заявленной теме исследования показал, что развернутых дискуссий по поводу теоретических проблем философии истории, значительной специальной литературы по этому вопросу в эмиграции не было — были историософские искания, жесткие дебаты о судьбе России, но обсуждение специальной философско-исторической проблематики не создает той плотности, скажем образно, при которой возникла бы *атмосфера*. Даже в рецензиях на книги, где вопросы философии истории обсуждаются довольно обстоятельно, рецензенты почти всегда переходят на иные, более злободневные сюжеты. Различные мнения по этому вопросу есть — дискуссии нет.

Более того, погружение в тему создало впечатление, что в эмиграции философии истории как целостной и законченной системы не существовало, и полноценного процесса ее развития тоже не



составляет — слишком мало времени дала история русским изгнанникам на то, чтобы высказаться, слишком жестокой была история XX в. Это значит, что следует сосредоточиться на том, что является более реальным и осязаемым, — и поиск отвлеченной, вмененной всем логики историко-философского процесса заменить на стремление понять правду каждого. Ведь, в конце концов, философы не проводники между своими собственными концепциями, существующими независимо от них, и реальным миром — они в конкретных историко-культурных условиях создают системы, которые в первую очередь отражают их личный духовный опыт и лишь во вторую — могут оказаться созвучными иным сознаниям. И даже то, что нас они больше интересуют во втором смысле, не отменяет первого.

Может, тогда и не надо эту тему исследовать? Однако, если мы будем исключать из сферы исследования те области, которые не поддаются жесткой концептуализации, то довольно сильно искадим изучаемые процессы — мы будем видеть только то, что готовы увидеть. И это не станет достоинством исследования.

Как работать с мозаичностью? Через анализ *единичного*. В конце концов, единичное — такая же полноценная философская категория, как и особенное и общее. Интерес к единичному, конкретному, частному, малому реабилитирован в современной философии, и это мне кажется ее большим достижением. И если данные категории отражают взаимопереходы отражаемых предметов и процессов, то почему единичное не может оказаться в центре внимания? И как можно строить обобщающие модели, детально не зная фактического положения вещей?

**Принципы систематизации материала.** Отдавая себе отчет в том, что никакая классификация философских систем всего богатства подходов не охватит и не исчерпает, мы предлагаем обратить внимание на теоретические схемы (сценарии), которыми обосновываются философско-исторические концепции. Нами определены три основных сценария, которые русской философской эмиграцией использовались особенно часто.

В рамках *первого сценария* реализованы принципы, с предельной ясностью выраженные в *позитивизме*: убедительность всякой теоретической модели здесь связана с предельной рациональностью аргументации, опирающейся исключительно на факты. *Эмпиричность* — его характерная черта, вывод признается более убедительным, если он носит индуктивный характер; все то, что подобным требованиям не соответствует, объявляется метафизикой. Реализация этого сценария на практике приводит к концентрации на вопросах социально-политической и экономической истории, чему в методологии соответствуют различные формы натуралистически окрашенного детерминизма.

*Второй сценарий* основан на убеждении, что история не может быть адекватно объяснена ни разложением сложных явлений на простые и элементарные, ни подчинением при помощи долгих причинных рядов исторического природному. Для этого *религиозно-философского подхода* характерна уверенность в том, что подлинное понимание истории возможно лишь в свете высших метафизических идей, которые невыводимы из непосредственного исторического опыта. Из этого следует, что история задана еще до своего осуществления, она в каком-то смысле не столько *творится*, сколько *раскрывается*.

Если в первом случае убедительным объяснением считается сведение к низшему, во втором — подчинение высшему, то *третьим сценарием* полагается, что история человека есть история становления его духа, история культуры. Особенность этого подхода заключается в убеждении, что ход истории определяется логикой развития духовной сферы, которая, будучи автономной, содержит в себе основания собственной легитимности. Вырастая из природы, человек в культуре приобретает известную меру независимости и право развиваться по своим собственным законам. Здесь история рассматривается в первую очередь как *история культуры*.

Значит ли это, что таким образом типология материалу навязывается, а не выводится из него? Однако рискнем предположить, что при таком противоречивом материале подбор критериев уже предполагал известную долю произвола — ведь всякая типология, в конце концов, лишь сеть, которую исследователь пытается набросить на материал. Именно поэтому была предпринята попытка выбрать для типологизации действительно значимый *в рамках философии истории* критерий. Кроме того, благодаря такому подходу удалось (возможно, только частично) переписать исследуемую область — рассмотреть философов русского зарубежья под новым углом зрения.



**Список литературы**

1. Кукарцева М. А. Современная философия истории США. Иваново, 1998.
2. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; Спб., 1998.
3. Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2009.

**Об авторе**

Владас Иона Повилайтис — канд. филос. наук, доц., Российский государственный университет им. И. Канта, e-mail: povilaitis@mail.ru

**Author**

Dr. Vladas Jono Povilaitis, Associate Professor, IKSUR, e-mail: povilaitis@mail.ru